

Янга АКУЛОВА

БЕСПРИЗОРНЫЙ ДИНОЗАВР

Р а с с к а з

Выходишь из дому, думаешь — идешь на новую работу, и попадаешь... в склеп.

Благоустроенный, с отоплением и санузлом, паркетным полом — склеп. От живого мира его отгораживает стена понурых, побитых жизнью деревьев. Окна хоть и есть — толку. Что глаза слепого — свету не пробиться сквозь тонировку пылью.

Это кем же надо быть, чтобы приучить себя жить здесь! Помещение залито чем-то болезненным, вроде рассеянного склероза. Вместо солнца, среди бела дня, — грязно-желтый абажур, не как в старых фильмах, мягким светом на всю комнату, а несуразная кастрюля с облезлой бахромой, с одной, вместо трех, лампочкой. Жив ли еще тот, кто ввернул ее когда-то?

— ...в девяносто лет — сама понимаешь. Но память у него — куда там молодым! Позавидовать можно.

Девяносто... Это как вообще? Что это такое — *девяносто лет*? Эта его семидесятилетняя племянница, выходит, — молодка рядом с ним. Впрочем, деловитости у этой бабушки с седым хохолком полководца Суворова еще и поучиться. События дня у нее происходят не как им вздумается, а согласно четкому плану в ученической тетрадке, начертанному твердым квадратным почерком.

— Ну, главное, чтобы... Ты не испугаешься, когда он поползет?

— Поползет? Как маленький?!

— Когда в первый раз видишь — может и шок быть.

Шок?!

— А он хоть знает, куда ползти?

— Да все он знает. Если вдруг ночью, свет ему надо включать, и все.

Что она называет светом? Надо купить лампочек, вот что. И окна открыть. А то полный свету конец. Меблировочка тоже веселенькая: разной ширины и высоты гробы черной полировки, пыли на них — хоть ешь. Может, кто и ест из здешних — вот откуда эта затхлость. Лежалого времени тяжкий дух.

— Что не ходит — так даже лучше. От греха... Тот еще придурок. Из соцслужбы пришла тут к нему с опросом, симпатичная, лет

двадцати, так распушил перья, что павлин, на ухо мне — ты шла бы, мол, старая, а то ему с мыслями не собраться. Ну, я ему тоже сказала потом. Когда приходила сотрудница чуть моложе меня, с мыслями у него все было в порядке. Смутился? Как же! «А кому она такая-то нужна?» Ну не скотина? Горбатого могила исправит. Извращенец-перестарок.

Очертания вокзала с лавкой в холодном зале ожидания всплыли перед глазами... Как вариант.

— А он точно ходить не может?

Точно. Перелом шейки бедра.

— Бояться тебе нечего. Приносишь еду, оставляешь. Посуду забираешь потом, и все. Ну, утром еще вынести надо. По-большому он сам ползает — в туалет.

— Разговаривать с ним не надо?

— Да-он-же-не-слышит! Уж у меня какой голос, и то по сто раз орать должна.

Назвался груздем — полезай... в логово к дедушке-маньяку. По рассказам Галины Петровны, количество жен старика учету не поддавалось, только законных — три, с одной из которых, с учительницей, у них был сын. Так ведь, подлец и негодяй, не признал мальчишку своим. Вот и уехала куда-то на дикий Север бедняжка с ни в чем не повинным дитем. И этот их никогда и не вспоминал. Жил только для себя, эгоист. До сих пор водку жрет — чуть что, требует. Мог бы ходить, так и по бабам таскался бы, как пить дать.

Да, Федор Андрианович — одна ходячая обуза, ползучая точнее, и без намеков на основы человеческой морали.

Вот тебе и повезло! Поначалу все так и выглядело. На отчаянное объявление об услуге сиделки с проживанием откликнулись! А то и впрямь — хоть на вокзальной лавке ночуй, после того как тетушка, по доброте приютившая родственницу, внезапно обвинила в нечутком отношении к ее попугаю. «Уходи!» — сказала просто. А на носу сессия. А мама за тридевять земель.

— Сегодня ему уже ничего не надо, а завтра с утра приступишь.

— А сейчас... что он делает?

— Спит. Дрыхнет, как из пушки. Что ж еще! Ест да спит.

Невольно приходилось «косить» ухом в сторону соседней комнаты. Неужто правда за плотно закрытой дверью окопался безобразный сатир, обросший грехами, как шерстью? Странно, но ни шороха, ни вздоха, ни кхе-кхе какого-нибудь — ничего не доносилось. Жив ли старый греховодник?

Племянница, скороговоркой выпалив последние напутствия, глянула в свой план и, не скрывая радости избавления от родственничка, полетела на крыльях любви к своим розовощеким внучатам.

Утренний кофе в девять — пункт первый. Стараясь не вдыхать носом, я ступила в «дедскую».

Как ступила, так и остолбенела.

На узкой кровати под серыми простынями лежало нечто, в своей неподвижности прочно окоченелое: на подушке — огромное, опрокинутое навзничь лицо с обширным носом, поросшим сероватым ягелем, яма приоткрытого рта, провалы глазниц... Простыня на уровне груди — последняя надежда — и не думала колыхаться. Картина убийственной статики означала только одно: то, что лежало на кровати, не принадлежало миру, движущемуся куда-то и меняющемуся каждую минуту.

«Господи!» И вслед: «Вот везучая!» В первую очередь о себе, конечно. Чашка с кофе трусливо тренькнула о блюдец. Смотри не смотри — «dead is dead!» Вцепившись в чашку, чтобы не дребезжала, попятилась назад. И застыла вновь как вкопанная...

Неживое лицо неторопливо отверзло зеницы, направив взгляд в потолок. Прилежно считав с него нужные сведения, так же не спеша повернулось в мою сторону.

— Что, кофе, да?

«Кофе»?! «Да»?! Шок?! В скрипучести голоса было что-то птичье и... Кощеево. Только побасистее, чем в кино.

— Д-да, к-кофе.

Не поспоришь. Кофе. Ведь утро, девять.

Фигура зашевелилась — плавно, с осторожностью фарфоровой куклы приняла позу «сидя». Сгорбленный костлявый старец, наряженный в синий спортивный костюм и толстые вязаные носки, сидел на кровати и смотрел на меня мутно-голубыми, как из дешевенькой пластмассы, глазами. Ими что, можно видеть? Я превратилась в расплывчатую кляксу. Чтобы совсем не растечься, захотелось отвернуться и слинять побыстрее от этого... замшелого врубелевского Пана.

— А зовут-то вас как?

Так сразу не въедешь, что «это» может разговаривать.

— Э... Даша.

— Дашенька. Хорошо!

Нет, вот как: «Даш-шень-ко. Хорош-шьо!» Будто карамельку проглотил. С певучими безударными «о», как у вологодских людей, с нешипящими шипящими. При этом в лесное его дремучее лицо вдруг, перепутав что-то, заглянуло солнце: беззубый рот изобразил то, что у нас, недевяностолетних, принято называть улыбкой, — вполне грудничковое в своей умильности.

Он жив. И слышит меня нормально.

— Что? Обед, да?

— Да, обед.

Ведь два часа пополудни. Чтобы успеть сварганить его, пришлось удрать с последней пары.

— Есть такое дело! — С балаганной приподнятостью и той же невменяемо-кокетливой улыбочкой, что и утром. Лицо вроде теперь гляделось... прополотым — побрился?! Ну да, Петровна говорила — бреется сам.

Так и пошло. Утренний окоченелый профиль больше не пугал. Оставив еду, плотнее притворяла дверь, чтобы не слышать... Насыщение

происходило громко, с азартом, переходя, очевидно, в смакование: жидкое заглатывалось с шумом и присвистом, твердое — с урчащим кряхтением; по завершении трапезы — усердное, полное непосредственности рыгание.

А в остальном старец вел себя вполне смирно, был тих, даже кроток, что ли. Единственным капризом был разве только чай. «На-ко вот, девко-матушко. Что лед, холодный». Притом что крутейшим кипятком всегда заваривался. На-ко вот тебе тогда, дедушка, прямо чайник — глуши свой кипяток.

Чудище безобразное, в общем, оказалось не опаснее личинки. Даже смешно было вспоминать о благоразумном решении не заходить к нему в юбке выше колен.

Последним парам в моем универе не повезло. Пришлось жертвовать ими ради обеда для чада. И не только ими. Как-то сразу времени не стало хватать — на прогулки, на общение с разным народом.

Упомянутое работодательницей переползание старца через прихожую в ватерклозет не то чтобы шокировало, но выглядело все же диковато — если б хоть на лоне природы происходил этот возврат к предкам, а то среди мебели, по строго заданному курсу «кровать — клозет — кровать». Такая приверженность своему углу казалась необъяснимой. Почему бы ради разнообразия не подползти к окошку, что ли? Четвероногие с ничтожными головами, вроде кошек, и то интересуются, что за мир там, снаружи. В своем смиренном передвижении на четвереньках Федор Андрианович, немного похожий на Росинанта, лишившегося седока, казался недостижимым для какого-то там разнообразия.

— Даш-шенько! Зайдите-ко ко мне, — вдруг послышалось как-то в неурочный час — между кормлениями.

Вот оно! Не спится. Сейчас водки требовать станет.

— Я хотел вас просить... — начал он, конфузясь сверх меры. Знакомое уже грудничково-мечтательное выражение лица, да еще причмокивание губами фиолетового оттенка.

— Такое дело... Давно, не помню уж сколько, не видывал я и не едал, а уж больно люблю ее... Репку. Всегда любил, ребенком еще. Вот такого баловства захотелось, прямо беда. Можно ее купить-то нынче? — заискивающе произнес старик свою самую длинную речь.

— Репку?!

Ту самую, которая «Жучка — за внучку, внучка — за...». Так вот о чем думает дедка в пещерной тишине, когда не спит!

...Летним утром им с сестрой разрешили надергать в огороде, чего им хочется. Сестренка набрала моркови, а он — репки охакку: круглые янтарные плоды, остановиться нет мочи. Мать кричит: «Хватит, Федюшко, не съешь столько!» Сели все на нагретое солнцем деревянное крыльцо, мать окунает репку в котелок с водой, чистит. Сестренка хнычет: а морковку мою! Да ты попробуй репку, какая она сочная, сладенькая. Федюша протянул сестре одну, и та перестала плакать.

Репка! Днем с огнем... Это вам не бананы с апельсинами. Не, деда, подожди, когда-то она отыщется.

От ожидания, должно быть, подопечный приуныл. Частенько из-за стены доносилось: «О-хо-хо-о-о», с последним «о», переходящим в полную безысходность. Спросил вдруг, какое сегодня число. Я ответила.

— Так это, значит, дети-то в школу пошли...

— Да, пошли, — сказала я и пошла сама... побежала.

Через какие-то минуты — забитая людьми платформа, открытая беспощадно-режущим ветрам скоростей. Быстрее, быстрее на репетицию. Как назло, университетский хор был очень хорош, никак не хотелось его бросать. Успеть и туда, и сюда — огромный город весь был исчерчен линиями маршрутов из конца в конец. Теперь еще репка, где ее взять?

— Репку? А березовой каши он не хочет? — вразумила по телефону дедушкина племянница. — Ты с ним не очень-то. Чтоб на шею не садился.

Но это оказалось так приятно — идти по улице с букетом темно-зеленой резной ботвы. Нашлась-таки. Тот, кому предназначалась эта красота, однако, бурной радости не выказал — может, время ушло. А может, на самом деле он просто стеснялся спросить про водку?

— Я ведь юношей-то не пил. Это уж когда война — там ведь думашь: все равно убьют, так что? И пьешь.

Он — юноша?! Гонит! Не могло такого быть. А про войну мне никто не говорил. В окопах, значит. Может, и до сих пор он в них? И от какого же неприятеля хоронится? Один разве и остался — костлявая с косой. Но тут надо бы еще разобраться. Иногда так кажется, либо подход он к ней пришел, либо вовсе — положил: и на нее, и на ее косу. Ну не плющит его от думок про разные неприятности типа естественной кончины, и все тут! Появляется новый день — как колбаска, заранее порезанная кем-то на ломтики: кофе — обед — чай. Он их съедает-проживает. И будто у него таких колбасок впереди — немерено.

Так не из-за его ли векового спокойствия вообще... без запинки наступает новый день? Вот уж чего не опасаться рядом с ним, так того, что следующий день совершит прогул.

Только у некоторых эти дни складываются в жестокую зачетную неделю. Одна надежда на Люську. Побойчее меня будет, и комплекцией посolidнее: доходчиво разъяснит непонимающим, почему это мне позарез надо лезть вперед всех «сдаваться». Пришлось открыть ей — действительно, а почему? Да потому, что «девка-матушка» вовремя должна кормить своего питомца. Заодно и спросила подружку, не терпелось:

— Не воняет от меня?

— Чем?

— Ну затхлым... прошлым веком? Только, правда.

Подружка удивилась — вроде нет.

Слава богу! Не зря, значит, столько сил ушло на избавление от пластов пыли и хлама.

Сидела как-то, мусолила ненавистную историю до трех ночи. Напридумывают... А завтра придет очередной умник — извиняйте, предыдущий дядька все перепутал, забудьте, я знаю, как по правде было.

Уж пирамиды, казалось бы, у всех на виду, против них не попрешь. Так и с ними полный туман. Может, и не гробницы вовсе, а Диснейленд межгалактический для киберфараонов.

Усталая и недовольная, с загустевшей кашей в башке, завалилась спать.

...Жалобные стоны, натужное кряхтение, отчаянные вскрики. Истекающие потом рабы тянут пятитонный блок... Кожа на плечах, хоть и задубевшая на солнце, сдирается веревками в кровь, тощие босые ноги подкашиваются от напряжения, рвутся сухожилия... Резко открыла глаза, помяная недобрим словом учебник истории. Вновь стон, леденящий кровь, страшнее прежнего. Одеядло на голову, как паранджу. Бесполезно. Отбросила его и села. Потому что стоны и причитания продолжали звучать не из Египта, а со стороны туалета. Что за!.. Случались у старца и раньше запоры, но тут не то...

Дверь в туалет была открыта: там на полу у подножия унитаза морской звездой распростерся Федор Андрианыч.

— Ой, да что же это? Вот беда-то, Дашенько. Встать-то я никак не могу.

То ли он не той стороной заполз. Конечности его переплелись, как у заправского йога, торча теперь в разные стороны. Как их распутать и собрать правильно в такой тесноте, я не представляла. Оставалось поработать подъемным краном. Вроде груз показался не таким уж тяжелым. Приподняла его, обхватив под мышками, — школьное пособие по анатомии, еще и сломанное.

— Вытаскивайте правую ногу!

— Ой-е-ей! Вот беда-то. Не могу я.

— Ну, давайте, тяните, тяните!..

«Тяните, Федя, тяните...» Держать на весу хоть и скелет, но больше меня ростом и одновременно тащить его за ногу было невозможно. Хорошо, что никто не снимал это на видео. Барахтанье затянулось и казалось тупиковым. «Беда-то, беда» прозвучало раз сто, но не помогало. Ценой невероятных усилий — безотказного раба на строительстве пирамид — объект был распутан, а после еще и сопровожден до кровати, так как сильно ослаб.

После часа сна — на зачет. Сдала как-то: про Диснейленд — ни гу-гу.

Ближе к вечеру, «дома» уже, я во второй раз услышала:

— Дашенько! Зайдите-ко ко мне.

Церемония усаживания на табурет — с необычной важностью. И сам старик сел на редкость прямо в своем спортивном костюме, спустив вязанные ступни на пол. Чуть замялся, собираясь с мыслями.

«Ну теперь-то — водочки?»

Он же, потупясь, смотрел на свои руки, вроде что-то держа в одной из них.

— Я, Дашенько, за вчерашнее, страшное такое, что ночью-то стряслось... Хочу вам...

Он разжал ладонь и с подчеркнутой решимостью протянул мне то, что у него там было. Мужские часы на простом ремешке.

— Это мне к юбилею... тогда пожаловали, да ведь я все равно теперь не вижу. У меня больше ничего нет такого... Возьмите.

«Какие часы? Зачем? Он что?» — когда они уже были в моей руке. Вот те на! Ползучий Кощеюшко, всецело погруженный в процесс поглощения и отправления, представлял меня к награде! Вручал, может, самое дорогое, что у него есть. Никаких наград я сроду не получала.

— Вам же их подарили! Это как-то...

— Пусть будут у вас.

Удивил. Вот так часы: громадные, круглые, железные, и идут! Несмотря на возраст.

— Что?! Часы? Быть не может! Никогда! Этот человек в жизни своей ничего никому не подарил, слышишь, — ни сломанной булавки, ни открытки копеечной.

Ну не чудеса? Семьдесят лет, выходит, не срок, чтобы понять хоть что-нибудь даже про родного дядю.

На следующий день Галина Петровна экстренно примчалась с инспекцией, не иначе, поломав свой тетрадный план.

Обрушив на неходячего: «Ну как ты тут?» — гласом полководца, хозяйка старца приступила к допросу подозреваемого. В чем? В простых человеческих чувствах, таких, как благодарность? В общем, я пошла за хлебом, кончился.

А когда вернулась...

— Знаешь, что он ответил, когда я спросила, есть ли у него жалобы? — Седой хохолок подпрыгивал от негодования.

— Что?

— Глянул эдак свысока и говорит с расстановочкой: «А кому это тут жаловаться-то?» — и ухмыляется нагло — дескать, ты кто такая вообще? Еще и ухмыляться научился! Что ты с ним сделала? От него и в молодости-то улыбки дожидаться было...

Я типа смутилась. Что ей ответишь? Ну, носила я еду и выносила горшок.

И мы снова остались вдвоем с мятежным, по моей вине, старцем.

Как-то я все-таки спросила у племянницы по телефону про войну, про его, Федора Андрианыча, войну.

— Да его там и не царапнуло ни разу. Заговоренный. На ночевку как-то улегся в углу в избе. Потом по нужде ходил, вернулся, неохота стало пробираться через всех, прилег у входа. И тут — как даст! В угол, прямо в тот, откуда он ушел пять минут назад, — снаряд. Или вот...

Невероятных историй выживания старца Федора хватило бы на десятерых. И чтобы в благодарность он стал... последней скотиной и подлецом?! Вот так шарада!

Не может быть, чтобы не вспоминал он свою учительницу.

...Солнечная волна волос (любил их, мочи нет, «с тобой и света зажигать не надо»), сияющая кожа, линии (что тебе репка). Что поделашь! Работа была, одни разъезды — геодезистом. Нечистый, видно,

толкал — нагрязнуть домой неурочно. И было бы что, а то ведь комар носу не подточит. А все ж грызло. Был там учительшко рисования, Шишкин, с елки долбанутый! Лысый черт, а туда же. Все норовил портретик моей... Один раз ему его собственный портрет подправил, так мало. Нарисовал все ж! Да еще на выставку! По какому праву? Не жить тебе! Ружьишко уж сдернул с гвоздя... Побелела как мел, хватъ ножницами по волосам, под корень. Швырнула в меня косою, что змеей, — прямо в грудь, схватил, не соображая, да так и сел на койку с этой змеей прижатой. Руки-ноги не шевелятся... Подхватила мальчонку... Часу не собиралась. Была — и нет...

То-то и оно. Есть она. Дня нет, чтобы с ним не была. И все такая же... Никакие полвека не коснулись ее лица и волос. И мальчишка их только в школу пошел...

Люська давно рвалась, приперлась-таки в гости — поглазеть на чудище. Под «Каберне», сидя на кухне, обсуждали жизненное: вроде полно парней вокруг, в университете, в клубах там, а в итоге — никого. Или хронически инфантильные, или — откровенные «папики». Особенно тошно, когда настоящего отца нет.

— Ну ты хороша, конечно. Чуть что, срываешься на самом интересном месте, мчишься к своему этому... Он тебе кто, этот динозавр?

— Какая разница — кто. Подкидыш, беспризорный динозавр.

— А тебе не страшно? Ну, он же не может быть нормальным: без радио, без телефона, без ничего! Чем он лучше трупа? «Найдите десять отличий».

— Ну да, у нас и радио, и кино, и книжки, и хрен знает еще чего. А чувствуешь иногда — вечером, когда спать ложишься, вся эта беготня дневная... как протезы, чтобы прикрыть то, чего нет.

— А чего нет-то?

— Главного нет. Все не главное. Я вот поклялась тогда, после последнего своего... никогда больше не влюбляться. И что? Да от такой пустоты можно сдохнуть. А у старика — одних воспоминаний тонны. Плюс ожидание. Ждет, когда я приду, и еще... разные интересные дела у него. Созерцание репки.

— Чего?!

— Того. Не стал насыщать ею утробу, положил на блюдечко. Наверно, напоминает она ему кого-то. Чего ты ржешь? Не все же японцам с их вишнями... И кто сказал, что это менее важное занятие, чем, ну там, не знаю, продавать шашлык или недвижимость или...

— Ну все! Привет. Знаешь, я тебе соврала тогда — воняет от тебя... плесенью всю дорогу. Одичала вконец. В общагу, срочно! К людям.

— Да я тебе пытаюсь сказать, что... необязательно садиться в поезд, чтобы отправиться в путь.

Эх, подружка. Говоришь ей: ничего мы просто не знаем — ниче-гошеньки. Хихикаем над ними, над стариками, как над зверушками какими, как будто мы чем-то лучше. Научился человек приживлять

отводки из прошлого в настоящем и живет себе в этом саду, не тужит. И границ особых не проводит: прошлое, не прошлое... Кому какое дело?

...Как же быстро она провернула это, почти невозможное, с общагой. Напористая.

Подруга осталась ждать внизу, когда я спущусь с вещами. Иду за ними, последний раз открываю дверь своим ключом... Что же это? Не туда попала? Где это видано, чтобы в склепах у окошек кто-то рассиживал? Тут что ему, вагон?

— Что, чай, да? — Сидящий осторожно развернулся в мою сторону. Чай, конечно, а что же еще? Ведь вечер, пять часов.

Только когда принесла чашку, заметила — что-то мнет он в руках. Конверт, никак.

— Вот гляньте-ко, отправлено тут — какой город?

Я сказала. Северный город один. Желтизна конверта тянула лет на сорок.

— А вы, Дашенько, вы бы мне написали на чистом-то конверте этот адрес.

Напишем, чего там. Готово — конверт с адресом есть. А что за конверт без письма? Быть и ему.

...Люська распахнула дверь.

— Ну чего ты тут застряла?

Я подняла голову от листа бумаги.

— Письмо пишем.

Подруга одарила старца лютым взглядом. А потом и меня. Обвинила в отсутствии мозгов и совести и с чувством захлопнула за собой дверь.

Не объяснишь ей, что написать письмо любимому человеку, которого давно не видел, не такая уж простая вещь. Хватит ли дня? И кипятку потребуется немало. И чтобы кипяток так кипяток — пассажир нынче пошел, не проведешь.

